

Иероним Ясинский

Бунт Ивана Ивановича



Иероним Ясинский
Бунт Ивана Ивановича

«Public Domain»

1881

Ясинский И. И.

Бунт Ивана Иваныча / И. И. Ясинский — «Public Domain», 1881

«Иван Иваныч Чуфрин встал рано; ему не лежалось. Солнце играло на полосатых обоях его кабинета, на лакированном дереве мягких кресел, на бронзовой крышке огромной чернильницы, на хрустальной вазе, где в рыжей воде увядал букет цветов, распространяя кругом травянистый, болотный аромат, на стёклах гравюр и фотографий, на крашеном полу; и воздух в широких снопах света, лившихся косо из окон, завешенных до половины тёмной драпировкой, был нагрет и сиял, слегка туманный от пыли...»

Иероним Ясинский

Бунт Ивана Ивановича

I

Иван Иванович Чуфрин встал рано; ему не лежалось.

Солнце играло на полосатых обоях его кабинета, на лакированном дереве мягких кресел, на бронзовой крышке огромной чернильницы, на хрустальной вазе, где в рыжей воде увядал букет цветов, распространяя кругом травянистый, болотный аромат, на стёклах гравюр и фотографий, на крашеном полу; и воздух в широких снопах света, лившихся косо из окон, завешенных до половины тёмной драпировкой, был нагрет и сиял, слегка туманный от пыли.

Иван Иванович окинул недовольным взглядом обстановку кабинета и подумал: «Последний раз, слава Богу, дышу этой мещанской атмосферой».

Подойдя к зеркалу, он разгладил чёрные, шелковистые усы на своём красивом лице, с тёмными глазами, с белым лбом и горбатеньким носом, вздохнул и сладостно зевнул, потянувшись.

Потом он улыбнулся долгой, вдумчивой улыбкой, сел на диван, откинувши голову, и заломил руки со счастливым и мечтательным выражением лица.

Он сидел так минут пять, повторяя: «Свободен, свободен!»

И ему казалось, что до сих пор он был в тюрьме, в цепях, окружённый каким-то промозглым мраком, а теперь пред ним раскрыли двери его подземелья, и он видит в перспективе радужные дали, в дымке которых носятся светлые призраки. Всматриваясь в их черты, он узнаёт себя и её, свою дорогую Сонечку, и свет, которым они там дышат и живут, радует его глаз и наполняет его сердце блаженной тоской.

– Ах, когда б уж скорей выбраться отсюда! – произнёс он. – Действительности хочется, настоящей жизни, а не грёз!

Но мечты были назойливы и так приятны, что он не отгонял их, и они снова завладевали им, усыпляя его тревогу на несколько мгновений. Они сами то улетали, то прилетали, то по одной, то разом, и брови его перестали, наконец, хмуриться. В сотый раз перебирал он в памяти все обстоятельства знакомства своего с Сонечкой.

II

Год тому назад, он увидел худенькую барышню, с золотистыми, подрезанными и вьющимися волосами, большими ясными глазками и выразительным ртом, – на половине своей жены, Полины Марковны, учившей в местной женской гимназии музыке. Барышня поклонилась ему как-то бочком, сделав очень серьёзное лицо, и продолжала начатый разговор. Полина Марковна предложила ей курить, она закурила. Иван Иванович повертелся в комнате минут пять, спросил что ему было надо, и вышел.

За обедом жена сказала ему:

– А заметил?

– Что? – произнёс он, хотя сейчас же понял, что означает вопрос жены, но почему-то притворился, что не понимает.

– Да вот эту девушку, что была...

– Ах, эту девушку! Нет, почти не заметил, – отвечал он и вопросительно взглянул на жену, как бы желая сказать выражением своих глаз, что девушкой он не интересуется, но узнать, что это за птичка такая – не прочь.

– А это Сонечка Свенцицкая, наш феномен, – сказала жена в ответ на его взгляд. – Сейчас она получила аттестат и заходила проститься. На лето едет в деревню. У неё отец, кажется, порядочный деспот и с известными взглядами, так что его трудно переделать, но она хочет подкупить его золотой медалью, чтоб он позволил ей вернуться осенью сюда – уроками заняться... Премилая девочка, иногда бойкая, а иногда презастенчивая... Впрочем, ей идёт это. Главное, начитана и хорошо рисует и лепит. У меня есть один рисуночек её, акварелью, прелесть! Показать?

– Покажи... когда-нибудь! – сказал он равнодушно и даже хотел зевнуть.

– После обеда покажу. Прелесть, говорю тебе, – убеждённо повторила Полина Марковна, и, съев с аппетитом несколько ложек супу, опять начала приятно улыбаться. – А заметил, какие у неё глаза? Проницательные и тихие такие...

Ему сделалось неловко. Он усмехнулся.

– Глаз-то уж совсем не заметил, то есть... глаза как глаза, – произнёс он и стал прилежно есть.

Он лгал, что не заметил глаз Сонечки. В первый раз с тех пор, как он женился (совсем юношей), сумрак окружавших его будней осветился на мгновение кротким блеском этих глаз, и он не мог забыть их ни на секунду. Тревожное чувство волновало его, ему было и стыдно, и досадно.

Жена сказала:

– Нет, мой душоночек, вижу, ты ужасный нелюдим. Помилуйте, не заметить такой жемчужинки!

Покончив с супом, она принялась за ножку цыплёнка.

– А ведь, пожалуй, если она вернётся, то выйдет замуж, – продолжала она. – Лозовский за ней серьёзно ухаживает. Да, мне кажется, и она к нему неравнодушна. Во всяком случае, это не будет неожиданностью. Ну, что ж, и Господь с ними, они – пара. Он тоже умный человек и этакой, хоть и шутник, но положительный...

Иван Иваныч процедил:

– Д-да...

Со Свенцицкой он не встречался затем около полугода, и то впечатление, которое она произвела на него, изгладилось, хотя не совсем, потому что скука его жизни грызла его чаще прежнего, окружающий мрак казался беспросветнее, а в минуты разлада с женою, выплывало из глубины душевной сожаление, что он слишком рано закрепостил себя, и что всё могло бы устроиться иначе, будь он теперь свободен. Он чувствовал себя одиноким, и общество Полины Марковны только обостряло это чувство.

Стоял сентябрь. Иван Иваныч не пошёл на службу, а забрался в городской сад, густой и большой, разросшийся на склоне крутого берега.

Высокие вязы и дубы протяжно шумели. В остывающем воздухе крутились красно-бурые листья и шуршали под ногами. Лучи солнца обливали землю нежно-янтарным блеском. Чувствовалось, что лето кончается.

Иван Иваныч шёл, сняв фуражку, скорым шагом. Он негодовал на жизнь, находил её пошлой. Вот ему теперь двадцать три года, размышлял он, а уж его жизненная песенка спета. Возврата нет. Он преждевременно постарел, чиновно-солиден, хотя трепещет начальства, и смутился бы, встретив в этот час, неположенный для прогулок, где-нибудь на повороте аллеи, Павла Кириллыча, управляющего канцелярией. Сослуживцы завидуют ему, пророчат карьеру, и червь крапивного честолюбия уже по временам щекочет его. Он вспомнил, как однажды промечтал всю ночь о месте управляющего, представлявшемся ему в далёком будущем целью его служебного усердия. Ему сделалось совестно. Вспомнилось также, как в начале его поступления на службу секретарь учил его подавать начальнику газету, и как он стал её подавать, размеченную синим карандашом, приятно изогнув стан. И ему опять сделалось совестно.

Деревья всё шумели. Это был тихий, меланхолический шум. Сверкая, пронеслась в воздухе паутина. Пахло осенью.

Иван Иваныч сел на скамейку, влажную кое-где от дождя, который шёл ночью, и обросшую мхом. Он закурил папиросу, глядя вдаль, в чашу деревьев, где местами просвечивало бледно-голубое небо. Неопределённая тоска мучила Чуфрина. Правда, в этом тосковании было что-то приятное. Он готов был бы просидеть так долго, лишь бы не тревожили его соображения о разных неприятных сторонах его действительности. Но они поочерёдно занимали его ум и мешали ему забыться.

Полина Марковна была высокая, грудастая двадцатилетняя блондинка, со свежим, красивым лицом и большими, красными, сильными руками. Ему было девятнадцать лет, когда он встретился с нею на одном сельском вечере в доме, где жил в качестве домашнего учителя. Тогда он любил всё американское, и образцом человека был для него деятельный и самостоятельный янки. Он даже о переселении в Америку подумывал. Полина Марковна так самостоятельно хохотала, так красноречиво отстаивала права женщины, так превосходно играла персидский марш (между прочим), так смело смотрела на Чуфрина, не скрывая, что любит его, так мило болтала с ним в тёмной аллее и так искренно жаловалась, что ей, пожалуй, придётся просидеть весь век в девах и ни разу не узнать, в чём заключается счастье взаимной любви, что он тут же влюбился в неё, стал ездить в Анисовку и через месяц сделал предложение. Полина Марковна выслушала его, зардевшись, схватила, в радостном порыве, за обе щеки пальцами, точно он был маленький мальчик, и крепко поцеловала его в губы долгим, ноющим поцелуем – с ним чуть обморок не сделался. Потом повела его к матери и представила как жениха, на что старуха, критически взглянув на него своим единственным глазом и пожевав губами, произнесла:

– Жиденек он, Павличка, для тебя. Тебе мужчина нужен крепкий. А это какой же мужчина? Это – красная девушка. Но, впрочем, твоё желание такое, и я не вольна идти вопреки. Господь благословит тебя!

Махнув рукой, она потянулась к своей черепаховой табакерке, и аудиенция кончилась.

Всё это было чрезвычайно по-американски. Но самое американское предстояло впереди. Объявив Ивана Иваныча своим женихом, Полина Маркова стала с этого момента обращаться с ним с какой-то материнской заботливостью. Вечером, она не отпустила его домой, потому что поднялся туман, и он мог заблудиться в поле, и оставила его ночевать. Она сама постлала ему постель в зале и долго играла, пока у него не стали слипаться глаза, и гром его любимого персидского марша не превратился в грохот какой-то фантастической битвы, где Полина Марковна предводительствовала войсками, вся в пороховом дыму. Заметив, что он засыпает, она ушла. Но едва он лёг и вторично заснул, как почувствовал, что он не один, что возле него дышит чья-то грудь. Ему сделалось страшно, ужас стиснул его сердце, он крикнул и проснулся. Действительно, на коленях, положив голову на его подушку, стояла Полина Марковна в ночной блузе и смотрела на него широкими глазами.

– Тише, глупенький, – прошептала она, улыбаясь. – Зачем вы кричите и пугаете вашу жену?

Защипнув его щёки сильными пальцами, она опять поцеловала его тем долгим ноющим поцелуем.

Он чуть не задохся. Голова его кружилась, но сон прошёл.

Светало. Он протянул руки к Полине Марковне...

Когда утром он возвращался к себе, и золотая рожь волновалась кругом как море, вея на него медовым ароматом, он горделиво поздравлял себя с победой. Это была его первая победа. Но в глубине души таилось сознание, что победа эта похожа на поражение, и что, во всяком случае, она и последняя.

Осенью он женился. Полина Марковна сказала ему после венца, что он – честный человек, и сконфузила его... Разве он не по любви женился? Он с недоумением посмотрел на жену и впервые заметил, что она старовата для него, и что другой, на его месте, пожалуй, действительно, «хвостом прикрывлся бы».

– Ах, зачем?.. – с тоской спросил он себя теперь.

Он находил, что все последующие четыре года его жизни с Полиной Марковной неопровержимо доказали только, что поступил он неразумно, действительно. Куда девалась его любовь к Полине Марковне? И вообще ко всему американскому? Не этот ли американизм, – спрашивал он себя, – был причиной его охлаждения к ней? В самом деле, неприятно, когда у жены сильные руки, и она играет тобою как мячиком, а главное, щиплет тебя за щёки. От этих щипков у него случались синяки. Она была самая безукоризненная жена, правда; дом держала в порядке и даже в некотором блеске; всегда у неё служили образцовые кухарки; умела принять гостей и сделать так, чтоб им не было скучно; она была умна и более или менее начитана, хотя ничего не смыслила в поэзии, но не смыслить в высоком считалось в то время модной добродетелью, и это не кидалось в глаза; зарабатывала в год до тысячи рублей и ни гроша не стоила мужу, принесла ещё, кроме того, в приданое, более двухсот десятин великолепнейшего чернозёма; считалась первой музыкантшей в городе, несколько бездушной, но с замечательной беглостью; вообще, чуть ли не во всех отношениях, она стояла целой головой выше дам, которых знал Иван Иванович. Наконец, она его любила слепо, сумасшедшей любовью. Он это знал и думал, что было бы лучше, если б она так же простыла, как и он.

– Я неблагодарен, гнусно неблагодарен, – говорил он себе, – что плачу ей равнодушием, скрытым, похожим на какую-то тихую ненависть. Но что же делать, если я не люблю её? Она для меня так вот противна как служба, на которую она же меня заставила поступить. Противна и баста!

Он с отвращением припоминал разные мелочи, которые, накапливаясь, воздвигли между ним и Полиной Марковной целую стену. По утрам она долго лежит в постели, в комнате с закрытыми ставнями, и кричит оттуда нежным голосом, чтоб он пришёл, – выслушал её сон. И это каждый день, потому что ей всегда снится что-нибудь удивительное! Он повинуется и даже притворяется, ласкаясь к жене, а в душе его кипит досада. Затем Полина Марковна встаёт и прежде всего полощет горло, но так громко, что хоть уши затыкай. Всё это смешные пустяки, но они раздражают его. За чаем она много ест, и когда он уходит на службу, то, сияющая и красная от усердной еды, целует его жирными губами, от которых пахнет ветчиной или сыром. О персидском марше, который прежде ему так нравился, он уже и не говорит: этот марш сделался его истинным мучением, так часто исполняет его Полина Марковна, – конечно, чтоб восхитить мужа. Приветливая со всеми, она холодна и почти жестока с прислугой, для которой, за разные провинности, установила штрафы, взыскиваемые с неумолимой аккуратностью при выдаче жалованья. Иван Иванович, потихоньку от жены, возвращает штрафы прислуге под предлогом платы «на чай», но это всё-таки мало примиряет его с некрасивостью факта. Самое же неприятное в Полине Марковне – привычка разглаживать себе пальцами брови, чтоб они лучше лежали. Такую же привычку имела мать Ивана Ивановича, но тогда привычка эта не казалась ему невыносимой, а теперь его всего коробит. Отчего это? Он не мог себе объяснить этого. Но, конечно, думал он, из-за какого-нибудь жеста нельзя же взять да и разлюбить человека. Нет, тут что-то другое. «Тут всё вместе – вот что!» – неопределённо решал он.

Случались и ссоры между ними – пока без скандалов, без крика и брани, но всё-таки тяжёлые. Они расходились по разным комнатам и молчали. Иван Иванович тихонько рвал на себе волосы и проклинал час, когда познакомился с Полиной Марковной. Грудь его болела от немного гнева и тупого отчаяния. Полина Марковна кидалась на постель, лицом в подушки, или на диван, и плакала, находя, вероятно, что муж мало её любит, иначе не спорил бы с нею. К обеду или чаю она выходила с красными глазами и лицом, покрытым багровыми пятнами. Эти

ссоры вызывались преимущественно несогласиями в политических вопросах, так как Иван Иваныч не выносил в близких людях сколько-нибудь консервативных идей. Чем сильнее втягивался он в чиновничью жизнь, с её сплетнями, интригами, попойками, послеобеденными снами, картами и проч., тем ревнивее оберегал он клочки идеала, оставленного ему в наследство ранней молодостью. Его раздражало, когда не деликатно тревожили эти реликвии, составлявшие единственное украшение его внутреннего мира. Губы его дрожали, и он говорил себе со злостью:

«Всё стерплю, Господь с нею; но *этого* – нет! – *Этого* нельзя!»

Однако же, когда приходило время спать, супруги заключали мир, и обе стороны оставались довольны, потому что натянутое положение терзало их, и они рады были выйти из него. Шаг к примирению делала Полина Марковна, обыкновенно за ужином, вдруг подкладывая мужу лакомый кусочек и ласково прося его, чтоб он съел его. Он, радуясь перемене ветра, начинал думать, что не следует ссориться из-за убеждений, что просто смешно оскорбляться неодинаковостью взглядов на вещи, что впредь спорить с женою он не будет, и протягивал ей руку, улыбаясь, а она отвечала, вся сияющая, чувствительным щипком, от которого он слегка морщился.

«К чему это я всё о ней, да о ней?» – подумал Иван Иваныч, отгоняя от себя назойливый рой воспоминаний, и потускневших от времени, и совершенно свежих, и нетерпеливо ударил по земле тросточкой, так что влажный песок брызнул.

«Нет, никуда от неё не уйдёшь, нигде не спрячешься!» – прошептал он с тоской и встал.

Послышались голоса и шорох листьев. Шли с правой стороны. Иван Иваныч тревожно прислушался. Голоса становились яснее, часто звенел молодой женский смех, мелодично замирая в тихом шуме, которым осень наполняла желтеющий сад, и ему вторил мужской хохот, счастливый и сочный. Вот показалась, наконец, и сама пара. Иван Иваныч узнал Лозовского и Свенцицкую.

Лозовский шёл в чёрной пуховой шляпе и походил на красивого итальянского бандита, такой он был бородатый, черноглазый, и такая у него была походка – твёрдая и самоуверенная. Свенцицкая расцвела за лето и производила впечатление розы, внезапно распустившейся в этом блекнущем саду. Тиролька с огромными полями и розовыми лентами бросала на её смеющееся и сверкающее молодостью лицо какую-то горячую тень. Золотые волосы, мягко кудрявясь, падали до плеч и чуть-чуть развевались ветром. Бледно-зелёный бант был прикреплен на груди, и концы его теребила загорелая ручка с длинными пальцами. Во всей её фигуре, тонкой и соразмерной, была бездна чего-то милого, какой-то своеобразной грации, чего-то, что не встречается у других женщин, что составляет её особенность.

Иван Иваныч смотрел на неё во все глаза, и сердце его билось как от испуга.

«Вот она, эта девушка», – думал он. «А вот её жених», – подумал он, ревниво взглянув на Лозовского, и приподнял фуражку; ему вдруг показалось чрезвычайно важным, узнает его или нет Свенцицкая.

Лозовский ответил на его поклон по-приятельски, сверкнув белыми зубами и бросив ему радостный взгляд. Свенцицкая сделала серьёзное лицо и кивнула головой, бочком, как и в тот раз. А он стоял и улыбался. Он слышал шум её платья, и ему казалось, что мимо проходит сама весна, существо идеальное, недостижимое, но всё-таки ведающее, что на белом свете живёт некто Иван Иваныч Чуфрин.

Когда пара скрылась из виду, и голос девушки совсем стих в отдалении, Иван Иваныч поднёс платок к лицу. Лоб его горел, ему было жарко. Кругом сад казался пустыней. Природа засыпала, слабо борясь ещё с дремотою, но уже чувствовалось, что зима не за горами. Молодой человек долго с завистью смотрел вслед за исчезнувшей парой.

Целую неделю затем он тосковал самым мучительным образом, просиживал у открытого окна часы и угрюмо молчал, а в душе его слагались грёзы удивительно яркие, снились золотые,

несбыточные сны, рассказать которых он никому не мог бы, потому что и слов не достало бы, и стыдно сделалось бы, как бывает стыдно девушке, впервые открывшей в себе что-то, что даёт ей право на мечту о милome. Когда же он покидал на время этот никем посторонним незримый, фантастический мир, благодаря службе, или гостям, или Полине Марковне, то действительность только ярче выделяла пред ним блеск этого странного мира, такую она казалась тёмною и пошлою. Но бывали моменты, когда и она загоралась ярким светом точно небо, на котором в ненастье вспыхивают радуги. Моменты те были встречи со Свенцицкой и разговоры с ней, и иногда длились целые вечера, так как Свенцицкая стала бывать у Чуфриных всё чаще и чаще, преимущественно вместе с Лозовским, вечно радостным и ликующим. Разговоры велись обо всём – о том, что денег в России мало, урожаи плохи, мужик голодает, о том, что классицизм вреден (тогда он только что вводился), что Некрасов – великий поэт, что Фурье – симпатичнейший социолог, что свобода совести – залог благоденствия народов, что провинциальная среда заедает. Велись они весьма обыденно, больше общими местами. Но Ивану Ивановичу не было до этого дела. В некоторых фразах Сонечки, он узнавал свои фразы, которыми выстреливал шесть лет тому назад, и которые были заимствованы из тогдашних журналов. Он радовался этому и отвечал такими же фразами, на которые Сонечка только вскидывала на него глазами, как бы в знак солидарности с ним. А он напрягал память и опять произносил что-нибудь красивое, опять выхваченное из какой-нибудь книжки «Современника» или «Русского слова». Вообще в присутствии Свенцицкой он сильно заботился, чтоб произвести хоть небольшой эффект своей особой, оживал, глаза его горели, и пальцы рук слегка дрожали, он смеялся (немного ненатуральным смехом), шутил, рассказывал анекдоты, был усиленно ласков с Лозовским и замечал, что и ходит, и сидит, и говорит иначе, чем в обыкновенное время – как-то уже чересчур красиво, точно, помимо его воли, сама его фигура заботится о том, чтоб быть приятной.

Встречи со Свенцицкой случались где-нибудь на улице или в низеньких коридорах тускло освещённого театра. Чуфрин упразднил послеобеденный сон и взамен сделал привычку ходить по городу, «без всякой цели, – говорил он себе, – куда глаза глядят», но при этом всегда внутри него что-то копошилось неутомное и непрестанно как бы заявляющее ему о том, что цель у него есть, и что следует ходить преимущественно вот по таким-то и таким-то улицам. Вот виднеется каменный дом купца Переканаева, с дочерью которого занимается Сонечка, а вон квартира генеральши Онупренко, чопорной и смешной аристократки, у которой Сонечка тоже даёт уроки. Невольно проходил мимо этих пунктов Иван Иванович по несколько раз и затем с тоскою отходил прочь, когда ему начинало казаться, что на лицах идущих и едущих играет вопросительная улыбка – «с какой, – мол, – это стати господин Чуфрин на этом самом месте вот уже целый час гуляет?» Завидев вдали женскую фигуру, похожую на фигуру Свенцицкой, он прибавлял шагу и досадовал, если ошибался, но зато был безмерно счастлив, когда ошибки не случалось. Радостный смех вылетал из его груди, и он произносил: «А, здравствуйте!» таким тоном, как будто не видался с девушкой сто лет. Он осыпал её разными заурядными вопросами – о здоровье, уроках, занятиях, искренно интересуясь всем, что касалось девушки. Она на всё отвечала и, значит, давала право на дальнейшие вопросы в том же роде. Разговаривая, они доходили до самого того дома, с зелёным палисадником и тополями, в котором жила Сонечка. Она толкала калитку и прощалась с ним, повернув к нему голову. Зимний день догорал; голубоватый снег сверкал розовыми искорками; небо затягивалось холодными облаками; мороз лютел. Но Иван Ивановичу было тепло, и розы на щеках Сонечки были ему милее настоящих роз. Когда калитка захлопывалась, улица вдруг пустела. Иван Иванович, однако, чувствовал себя некоторое время хорошо. Улыбаясь, шёл он назад, и ему было приятно видеть на снегу следы ног Сонечки рядом со следами своих ног.

В театре весь сезон давались плохо обставленные пьесы, и местную интеллигенцию привлекал своей удивительной игрой только актёр Шарамыкин, замечательный талант, которому случай не дал возможности прогнать по всей России, но который был выше Шумского, по

мнению Ивана Иваныча. Сонечка тоже восхищалась Шарамыкиным. Когда явление его кончилось, и он уходил со сцены, Сонечка покидала ложу и бесшумно и медленно бродила по коридору. Иван Иваныч знал это, угадывал, как и почему волнуется душа девушки, сочувствовал ей и рвался поделиться с ней этим сочувствием. Но, несмотря на обилие слов, готовых слететь с языка, он не произносил ни звука. Молчание коридора, на стенах которого, оклеенных атласной бумагой, трепетал бледный отсвет керосиновых огней, глухо нарушалось напряжёнными голосами актёров и актрис, которые ссорились на сцене, хохотали, говорили «в сторону» всё в одном и том же повышенном тоне. Сонечка шла возле Ивана Иваныча в своём тёмном платье с рукавами, отделанными кружевом, наклонив русую головку, и не чуждалась его, не стеснялась его непрощеным сообществом. Сомнения на этот счёт не могло быть, потому что так тепло не жмут руку, как пожимала Сонечка. А ежели она тоже молчала, то, вероятно, по той же причине, что и он. Он сознавал это или, лучше сказать, чувствовал это с каким-то тихим, блаженным ужасом и всё ждал чего-то...

После одной такой встречи он вернулся домой в странном восторге. Ничего особенно необычайного не случилось, и не было сказано ничего, что могло бы радовать, но сердце его ликовало, и он был так мил и любезен с Полиной Марковной, что та сама стала радоваться и крепко поцеловала его. Дело в том, что он заметил взгляд Сонечки, горячий и любящий, точно обнимавший его украдкой. Когда глаза их встретились, Сонечка покраснела и сделала почти строгое лицо. Но уже было поздно. Иван Иваныч крепко пожал ей руку, а она взглянула на него, опять отвернулась и покраснела ещё сильнее прежнего, и быстро ушла от него, ответив, однако, на его рукопожатие также крепко и тепло. С этой минуты Иван Иваныч вырос в собственных глазах и всю ночь не спал, повторяя: «Да, и люблю, и любим», а из сумрака на него ласково смотрели чудные глаза девушки – совсем близко...

А Лозовский? Что с ним? Подозревает он что-нибудь или ничего не подозревает? Чует ли опасность? И если в самом деле Сонечка дружески расположена к Ивану Иванычу, то есть, не дружески, а любовно, то как же относится она теперь к Лозовскому? Эти вопросы отравляли Ивана Иваныча, несмотря на радость его. Правда, – утешал он себя, – Лозовского стало что-то редко видеть, и несомненно у него со Свенцицкой разладилось. Но тем не менее, надо знать всё обстоятельно. Может, у него и не было никаких серьёзных замыслов насчёт Сонечки, и всё сочинила городская молва, а может, и были, может, даже далеко заходило. Последняя мысль заставляла Ивана Иваныча с ненавистью думать о Лозовском.

Лозовский как нарочно зашёл к нему на другой день, когда он собирался делать послеобеденную прогулку. Иван Иваныч встретил его с маленьким недоумением. «Зачем пожаловал? – подумал он. – Уж не затем ли, чтоб помешать?» Окинув его подозрительным взглядом, он поспешил улыбнуться натянутой улыбкой, которая означала и «милости просим», и «убирайся к чёрту». Лозовский тряхнул кудрями и при этом брызнул растаявшим снегом на Ивана Иваныча, подал ему руку и тоже улыбнулся, сверкнув зубами. Оба ничего не сказали друг другу, так что вышло официально. Однако, когда уселись на диване в гостиной, то разговор завязался. Лозовский начал с критики новой книжки журнала, где печатался роман, интересовавший всех по художественному исполнению и по жгучим вопросам, которых касался, а Иван Иваныч стал спорить с гостем. Спорил он любезно, не горячась, и думал: «Нет, едва ли он что-нибудь подозревает», хотя и продолжал себя чувствовать не совсем ловко. Это чувство упало по мере того, как росла его любезность, и на момент исчезло совершенно; но, покончив спор с гостем, он заметил, что ус у того дрожит от насмешливой улыбки. Чувство неловкости тогда опять возросло у него, и в голове его мелькнуло, что Лозовский весь этот спор о романе завёл так себе, вместо предисловия к чему-то, о чём речь будет впереди. Он стал ждать, поглядывая на ногти, на давным-давно примелькавшиеся картинки, висевшие по стенам, и в окно, откуда виднелся белый как молоко день, и где снег падал, медлительно и непрерывно, пушистыми хлопьями, задерживаясь на наружной стороне стёкол. «О чём же нач-

нёт он разговаривать теперь?» – спрашивал себя Иван Иваныч и с тоской думал о Сонечке, которая, пожалуй, возвращается уж с урока, и на её меховом бурнусике, бархатной шляпке, на розовых от холода щеках и на длинных ресницах прищуренных глаз белеют и тают вот такие же снежинки. Он нетерпеливо вздохнул. Лозовский, между тем, зевнул и произнёс, глянув на Ивана Иваныча немного сверху и искоса, так как затылок его упирался в спинку дивана, а руки были заложены в карманы брюк, и ему трудно было повернуться:

– Небось, каждый день гуляете?

– Я? – спросил Иван Иваныч с испугом, потому что сказанное Лозовским по-видимому совершенно не вязалось с предыдущим разговором и слишком прямо вело к цели, то есть укрепляло его сразу в убеждении, что Лозовский подозревает, как он относится к Сонечке. – Нет, не каждый день, – сказал он и точно так же, искоса и сверху, посмотрел на Лозовского.

– Хорошая погода сегодня! – начал Лозовский, помолчав. – Люблю такую погоду. Вот и герой этого романа любит этот белый тон, этот серебряный сумрак, располагающий к мечтам. Иногда я не прочь мечтать сам, хоть и терпеть не могу мечтать о несбыточном. А вы любите мечтать? Страсть как любите, и притом о несбыточном. Замечаю по тоске ваших глаз. Да и так слыхивал я от вас сужденьица и упованьица – ого-го-го! Одним словом, вы недаром фурьерист. Так вы не каждый день гуляете? А мне казалось, каждый день.

Он снова замолчал. Иван Иваныч нахмурился.

– Видите ли, дружище, вот что я вам скажу, – вдруг начал Лозовский задушевно и понизив голос. – Мы хоть почти и ровесники, да я практичнее вас, и поэтому выслушайте меня. Ради неба, дружище!

Он крепко пожал ему руку и посмотрел в глаза дружеским взглядом. Лоб Ивана Иваныча разгладился, неловкое чувство пропало на этот раз уже совершенно. Он окончательно сообразил, к чему клонит Лозовский. «Хочет, чтоб я исповедался ему», – подумал он. Но, расположившись к нему так благожелательно, он почувствовал в то же время, что надо быть настоящим, и решил всё скрывать и даже прикрыть всё ложью, приписав встречи с Сонечкой, если станет спрашивать о них Лозовский, простому случаю. Поэтому и лицо он сделал себе такое, что оно, будучи открытым, наперёд уже говорило, что «нет, брат, шалишь, ничего от меня ты не вытянешь, ибо и вытягивать нечего».

Действительно, Лозовский сначала ничего от него не вытянул. Иван Иваныч кивал головой, пожимал плечами, произносил: «ну, нет!», «помилуйте, батенька, что вы», «клянусь вам», «да уверяю же вас», всё с оттенком в высшей степени убедительной искренности и внутренне недоумевал, почему так легко ломать ему эту комедию, причём видел, что положение Лозовского постепенно становится двусмысленным, и тот уже не знает, как из него выпутаться. Лозовский, впрочем, не прямо завёл речь о том, влюблён Иван Иваныч в Сонечку или нет, и если влюблён, то чего от неё ожидает, а издали, намёками, вопросами; но, может, оттого ему и труднее было покончить с этим разговором солидно и с сохранением надлежащего достоинства. Однако же, когда-нибудь надо было покончить. Иван Иваныч, быстро давая ответы Лозовскому, всё оставался неуязвим, провидя каждый раз, что означает тот или этот вопрос, и какие произойдут результаты, если сказать так, а не этак, и в душе восхищался собою. «Экий я политик, – думал он, – право, и не подозревал!» Он сделался смел, развязен и боек. Наконец, он сказал со смехом, в котором резко прозвучала заигрывающая нотка:

– Однако, послушайте, Илья Петрович. Вы вот начали с того, что хотели преподать мне нечто вроде совета – что ж именно вы мне посоветуете и по какому поводу?

Лозовский смолк, сделал недовольную гримасу, взглянул на Ивана Иваныча так, как будто хотел сказать: «Мой совет – отстать от Сонечки», и, взявшись за шапку, застегнул пиджак, что Ивану Иванычу показалось знаком, что пора прекратить дружеские излияния и приятельскую беседу. Он пожалел, что увлёкся, хотел поправить ошибку и стал удерживать гостя, безо всякого заигрывания, прося его высказаться до конца. Но Лозовский улыбнулся в

бороду, дескать «и из этого поведения твоего могу я заключить, какие у тебя чувства, а больше хитрить с тобой незачем, лицемер ты этакий», и встал, глянув в окно.

– Потолковали и довольно, – произнёс он и спросил с оживлением. – А каков роман-то, а?

Улыбка в бороду и этот вопрос лишили Ивана Иваныча твёрдости, с какой он вёл весь предыдущий разговор. Вопрос был двусмысленный. Эти двусмысленности и остроты всегда позволяли Лозовскому выходить сухим из воды. Иван Иваныч соображал некоторое время, что бы такое ответить; наконец, сказал:

– Мне нравится, да...

– Прелесть, что такое! – подхватил Лозовский. – Хотя я уверен, – продолжал он, идя из гостиной в залу, – что этот его мечтательный герой кончит какой-нибудь гадостью и заранее не сочувствую ему... Не правда ли?..

– Я с вами не согласен, Илья Петрович, – сказал Иван Иваныч слегка дрогнувшим голосом. – Герой – хороший человек...

– Уверяю вас, он – просто дрянь, – возразил Лозовский презрительно и посмотрел на Ивана Иваныча с брезгливым выражением.

– Мне кажется, – сказал Иван Иваныч, – что дрянь – этот вот филистер, который фигурирует в романе в качестве дельца и развивателя молодой барышни. Она его не любит, а он всё-таки лезет к ней со своим законным браком... Дрянь и даже свинья, – заключил Иван Иваныч убеждённо.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.